

Александр Гарцев

A man in a white robe is sitting in the center of a circle of people, with his hands raised. He is surrounded by several people sitting on chairs, some with their hands clasped. The setting appears to be a room with large windows in the background, showing a dark, wooded area. The overall atmosphere is calm and focused.

ЛОВИТЕЛИ НЕБА

Александр Гарцев

Ловители неба

«Автор»

2026

Гарцев А.

Ловители неба / А. Гарцев — «Автор», 2026

Он искал ответ на главный вопрос: зачем мы живём? И нашёл тех, кто обещал дать ответ. За деньги. За душу. За имя. Молодой преподаватель Алексей Гордеев — умный, чуткий, надломленный смертью отца. По ночам он не спит, на лекциях говорит о великом, а внутри — пустота, которую не заполнить ни книгами, ни любовью Веры, ни заботой матери. Случайная встреча в книжном магазине — и мир переворачивается. Олег Шатров, лидер секты «Небесный Улей», говорит именно то, что Алексей так хотел услышать: «Ты не один. Мы — семья. Смерти нет. Есть смысл». Пронзительная, жестокая, исцеляющая драма о том, как легко потерять себя — и как трудно, шаг за шагом, вернуться. О том, что смысл не за горами. Он в чашке чая, в маминых руках, в том, кто говорит: «Я тебя прощаю». Любимый жанр сетевого писателя Александра Гарцева : психологическая драма, психоделическая проза, роуд-стори души.

© Гарцев А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «КОРЧАК И ПУСТОТА»	5
ГЛАВА ВТОРАЯ. «ЧАЙ С МЯТОЙ И ЧУЖИЕ РУКИ»	9
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «ЛЕС, ПЕЧКА И ЧУЖИЕ ЛИЦА»	12
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. «КОГДА ОТЦЫ НЕ ВОСКРЕСАЮТ»	16
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Александр Гарцев

Ловители неба

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «КОРЧАК И ПУСТОТА»

Ноябрь. Город N. Опорный Университет. 13:47.

1.

Аудитория 211 была вытянутой, как вагон, и пахла старыми тетрадами, мелом и чем-то сладковатым — то ли дешёвый освежитель, то ли чьи-то духи, которыми студентка залила себя с головы до ног, чтобы перебить запах вчерашней вечеринки. Алексей Гордеев стоял у доски, перебирая в пальцах кусок мела, и ждал, когда утихнет гул.

Гул не утихал. Где-то на задних рядах ржали над мемом в телефоне, в среднем ряду шуршали пакетом с сухариками, на первом — смотрели на Алексея с вежливым равнодушием, которое страшнее ненависти. Он знал это равнодушие. Оно означало: «Мы здесь, потому что должны. Рассказывай быстрее, поставь зачёт и отпусти».

Алексей прикрыл глаза. Сделал вдох — привычный ритуал, который помогал собрать мысли в пучок. Открыл.

— Януш Корчак, — сказал он негромко, но так, что гул оборвался. Пауза. Студенты замерли — не от страха, от неожиданности: обычно молодой преподаватель начинал с «здравствуйте, садитесь». — Польский врач, педагог, писатель. Он мог спастись. Трижды. Немцы предложили ему свободу. Но он выбрал газовую камеру вместе с двумя сотнями своих детей-сирот. Почему?

Тишина стала плотной, как кисель. Кто-то на первом ряду пошевелился, но ничего не сказал.

— Потому что, — Алексей повернулся к доске, написал мелом крупно, с нажимом: «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ», — он считал, что настоящий педагог не имеет права бросать учеников. Даже на пороге смерти. Это вас чему-нибудь учит?

Студенты переглянулись. Девочка с зелёными волосами на третьем ряду подняла руку:

— А можно этот слайд скачать?

Алексей усмехнулся — горько, краешком рта.

— Слайда нет. Только доска. И ваша голова. Если, конечно, она у вас не только для того, чтобы носить шапку.

Смешок пробежал по рядам. Не злой — скорее облегчённый: А, он шутит, значит, не всё так серьёзно.

Но Алексей не шутил. Он смотрел на них — на эти молодые, гладкие, не тронутые ни морщинами, ни мыслями лица — и чувствовал пропасть. Не между ними и собой — между тем, что он хотел бы им дать, и тем, что они готовы взять. Нуль. Абсолютный нуль по шкале Кельвина, где останавливается даже атомное движение.

2.

Звонок прозвенел в 14:30. Аудитория опустела за сорок секунд — быстрее, чем если бы там объявили пожарную тревогу. Алексей остался один. Стоял у доски, разглядывая надпись «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ», и почему-то вспомнил отца.

Отец умер два года назад. Инфаркт. Прямо на кухне, когда чистил селёдку. Алексей приехал через час — пробки, вечно эти пробки, — и отец уже лежал на полу, накрытый простыней, которую мать натянула до подбородка, будто боялась, что мёртвый замёрзнет. Селёдка так и осталась лежать на разделочной доске — с выпотрошенным брюхом, с вырезанным хребтом, с выпученным глазом.

Алексей тогда не заплакал. Не смог. Он просто сел на табуретку, взял эту селёдку, завернул в газету и выбросил в мусорное ведро. А потом пошёл в туалет, закрыл дверь и смотрел на свои руки в зеркале — руки были чистыми, без крови, без чешуи, но почему-то пахли рыбой. Пахли они селёдкой три дня. И каждый раз, когда он подносил их к лицу, он видел отца, который лежит на полу, накрытый простынёй, а из-под простыни торчат пальцы ног — жёлтые, с толстыми ногтями, как у покойника из дешёвого фильма ужасов.

— Ты мог приехать раньше, — сказала мать на поминках. Не зло — констатируя факт. — Экзамены подождали бы.

— Экзамены — это дети, — ответил Алексей. — Сто шестьдесят человек. Я не мог их бросить.

— А отца мог?

Он не ответил. С тех пор они не говорили об этом. Но мать смотрела на него с такой жалостью, которая хуже обвинения. Жалость — это когда ты уже не человек, а диагноз.

3.

В коридоре его догнала Вера.

Она шла быстро, цокая каблучками по кафелю, на ходу застёгивая куртку — молния заела на середине, и она чертыхалась сочно, по-матросски.

— Алексей, стой! Ты куда?

— Домой, — он не обернулся. — Лекции кончились.

— Ты сегодня опять на взводе. Что с тобой?

Она забежала вперёд, загородила дорогу. Вера была маленькой, почти на голову ниже его, но её умение становиться стеной сводило на нет разницу в росте.

— Со мной всё нормально, — сказал Алексей. — Просто хочу домой. Отдохнуть.

— Ты всегда хочешь домой. И отдыхаешь ты от меня. Я тебе мешаю?

Вера смотрела прямо, без моргания. В её глазах — голубых, с тёмным ободком вокруг радужки — горело то самое, что когда-то привлекло Алексея: невыносимая прямота. Она не умела лгать, не умела играть, не умела притворяться, что всё хорошо, когда плохо.

— Ты не мешаешь, — вздохнул Алексей. — Я просто... устал.

— От чего? От меня? От студентов? От жизни?

— Вера, не начинай.

— А что начинать? Ты второй месяц ходишь как тень. Не ешь, не спишь, на лекциях сам не свой. Я вчера зашла к тебе — ты сидел в темноте и смотрел в стену. Час сидел. Я постояла, постояла — ты не заметил. Я ушла. Так не может продолжаться.

Алексей хотел сказать что-то резкое — про то, что не надо лезть в душу, что у каждого бывает плохое настроение, что она ведёт себя как гиперопекающая мать, а не как девушка. Но слова застряли в горле. Потому что она была права. Он действительно сидел в темноте. И смотрел в стену. И в стене ему мерещилось — что? Отец? Селёдка? Дети, которые смеются над Корчаком? Или что-то другое, более страшное, более пустое?

— Вера, — сказал он тихо, — дай мне сегодня побыть одному. Пожалуйста. Завтра поговорим.

Она посмотрела на него долгим взглядом — тем самым, которым смотрят на больных, у которых диагноз ясен, но они отказываются лечиться.

— Завтра, — повторила она. — Ладно. Но если ты не придёшь завтра — я приду сама. С отмычкой. Понял?

— Понял.

Она развернулась и ушла, громко цокая. Алексей остался стоять посреди коридора, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Не от страха, что его бросят, и он снова будет один, — от бессмысленности. Вопрос, который мучил его последние месяцы, вылез наружу, как червяк из гнилого яблока:

Зачем? Зачем ты читаешь лекции, если студентам всё равно? Зачем ты живёшь, если отец умер, а ты даже не заплакал? Зачем ты с Верой, если между вами — пропасть, которую не перепрыгнуть на каблуках?

Ответа не было.

Был только коридор — длинный, кафельный, с люминесцентными лампами, которые моргали в такт его сердцу.

4.

Домой он не пошёл.

Вместо этого свернул в книжный магазин на проспекте — тот самый, где пахло пылью и бумагой, где можно было спрятаться между стеллажами и притвориться, что ты не один, а просто выбираешь. В секции психологии он провел полчаса, перелистывая Фромма, Франкла, Ялома. Знакомые имена, знакомые мысли. Они не помогали. Они только подчёркивали: ты всё это знаешь, но тебе не легче.

— Вы ищете что-то конкретное? — спросил голос сбоку.

Алексей поднял голову. Рядом стоял мужчина лет сорока, в очках в тонкой оправе, с бородкой «под интеллектуала». Одет просто: чёрные джинсы, свитер крупной вязки, на ногах — кеды. Улыбка открытая, но не навязчивая.

— Не знаю, — честно ответил Алексей. — Наверное, ответ.

— На какой вопрос?

— На тот, который не имеет ответа.

Мужчина хмыкнул, взял с полки книгу в мягкой обложке с неброским названием: «Соты: коллективный разум и смысл бытия». Протянул Алексею.

— Попробуйте это. Не обещаю ответа, но — направление.

Алексей взял книгу. Пролистал. В аннотации говорилось о том, что человек — не остров, а часть единого «улья», и только в соединении с другими обретает бессмертие. Мысль была не нова, но сформулирована как-то по-своему: без пафоса, без научной тяжести, почти по-дружески.

— Это из какой серии? — спросил Алексей.

— Из той, где люди помогают людям, — улыбнулся мужчина. — Мы по средам собираемся в библиотеке на Ленина, 14. Приходите. Там не лекции — там разговоры. Живые. Настоящие.

Он протянул визитку. На сером картоне было напечатано:

Олег Владимирович Шатров. «Небесный Улей». Вход свободный.

— Спасибо, — сказал Алексей, сунув визитку в карман. — Может быть, зайду.

— Обязательно зайдёте, — ответил Шатров и улыбнулся так, что у Алексея по спине побежали мурашки. Не от страха — от узнавания. Будто он смотрел в зеркало, которое показывало не лицо, а душу. И душа эта говорила: «Ты не один. Мы есть. Мы тебя ждём».

Выйдя из магазина, Алексей поймал себя на том, что крепко сжимает книгу в руке, а в другой — визитку. В кармане завибрировал телефон: сообщение от Веры.

«Ты где? Я беспокоюсь».

Он не ответил. Сунул телефон в карман и пошёл домой — длинной дорогой, через набережную, глядя на чёрную воду реки и думая о том, что в этой воде, наверное, хорошо утонуть. Не потому что плохо — потому что всё равно.

Всё равно уже было.

С 14:30.

С селёдки.

С отца, который лежал на полу, накрытый простынёй, а из-под простыни торчали жёлтые пальцы ног.

5.

Дома он включил свет. Везде — в коридоре, в комнате, на кухне. Сел за стол, открыл книгу «Соты» на первой странице и начал читать.

«Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша жизнь — не ваша? Что вы играете чужую роль, носите чужую маску, дышите чужим воздухом? Это потому, что вы одиноки. Вы — пчела без улья. Но есть место, где вас примут. Где поймут. Где вы станете частью чего-то большего, чем страх, большего, чем смерть. Это место — „Небесный Улей“. Мы ждём вас».

Алексей перечитал абзац три раза. Потом закрыл книгу, положил на тумбочку рядом с кроватью. Лёг. Погасил свет.

В темноте он услышал, как тикают часы. Ритмично, неумолимо.

Тик-так. Тик-так. Тик-так.

Ты мог приехать раньше.

Тик-так.

Экзамены подождали бы.

Тик-так.

А отца мог?

Он закрыл глаза. Перед внутренним взором возникло лицо Шатрова — улыбающееся, понимающее, безжалостное в своей доброте.

«Мы ждём вас».

— Я приду, — прошептал Алексей в пустоту. — Обязательно приду.

Часы продолжали тикать.

За окном моросил ноябрьский дождь.

А где-то в другом конце города Вера сидела на кухне у матери Алексея, пила чай с мятой и слушала, как Мария Петровна плачет, прижав к груди старую фотографию мужа.

— Он уходит от нас, — говорила мать. — Я чувствую. Он уходит туда, откуда не возвращаются.

— Мы вернём, — отвечала Вера, но голос её дрожал.

Она тоже чувствовала.

Тоннель. И в конце — свет. Но не тот, спасительный — тот, который засасывает.

ГЛАВА ВТОРАЯ. «ЧАЙ С МЯТОЙ И ЧУЖИЕ РУКИ»

Ноябрь. Город N. Квартира Марии Петровны. 19:23.

1.

Чайник закипал долго — старый, советский, с отвалившейся ручкой, которую Мария Петровна приматывала каждый год новой изолентой. Вера сидела на табуретке, поджав ноги, и смотрела, как в мутной воде вздуваются пузырьки. Ей хотелось крикнуть: «Выключи ты эту рухлядь, купи новый!», но она молчала. Потому что в этой квартире, с этими обоями в цветочек и этими хрустальными вазами на серванте, всё было предельным. Каждая вещь — последняя. Каждый вздох — предпоследний.

Мария Петровна сидела напротив, не выпуская фотографии мужа. На снимке Виктор Гордеев был молодым — лет тридцать, в тельняшке, с удочкой, на фоне реки. Он улыбался так, будто жизнь — это бесконечное воскресенье, а не череда потерь и дешёвых обоев. Фотография выцвела, уголок был надорван — Вера знала, что Мария Петровна носит её в кармане халата уже два года. Вынимает по ночам, когда не спится, и гладит пальцем стекло, будто хочет стереть смерть.

— Он не приходил, — сказала мать, не глядя на Веру. — Звонил вчера, сказал: «Мама, я устал, давай перенесём». Устал он. А я — нет? Я тоже устала. Я два года устала. А поминки — это не для мёртвых, это для живых. Мёртвым всё равно. Живым надо собираться вместе, чтобы не забыть, что они — не одни.

— Он придёт, — Вера выдавила улыбку, но улыбка получилась как бумажный цветок — держится, но не живёт. — На неделе. У него сейчас сессия, зачёты, курсовые...

— У него всегда сессия, — Мария Петровна подняла голову, и Вера увидела её глаза. Они были не заплаканными — выжженными, как степь после пожара, где ничего не растёт, но ветер всё равно дует. — Ты думаешь, я не знаю, что он от меня бежит? Я же его родила. Я знаю, когда он врёт. Он всегда врал плохо. В детстве — покраснеет, уши горят, сопли пузырями. А сейчас... сейчас он даже не краснеет. Он говорит спокойно. Как диктор. «Мама, я устал». Устал от чего? От меня? От жизни? От того, что я каждый день звоню и спрашиваю, поел ли он?

— Может, у него депрессия? — осторожно предположила Вера.

— Депрессия — это когда человеку плохо, и он знает почему. А когда человеку плохо, и он не знает почему — это пустота. Она хуже. Пустоту ни таблетками не залечишь, ни разговорами. Пустоту можно только... — она запнулась, подбирая слово, — ...заселить. Чем-то. Или кем-то. И я боюсь, что тот, кто заселит её, будет не я.

Чайник щёлкнул, засвистел, и Вера обрадовалась — можно встать, заварить, налить, сделать что угодно, лишь бы не смотреть в эти выжженные глаза.

2.

Она заварила чай — мятный, любимый Марией Петровной, — разлила по кружкам, поставила на стол вазочку с пряниками. Сделала вид, что эта кухня, эти пряники, этот чай — норма. Только норма закончилась два года назад, когда на полу в прихожей лежал мужчина в тельняшке, а скорая ехала сорок минут, потому что пробки. Или потому что не судьба.

— Вера, — мать отодвинула кружку, не отпив. — Ты его любишь?

Вопрос застал врасплох. Вера поперхнулась воздухом, закашлялась, покраснела — как когда-то краснел Алексей в детстве.

— Люблю, — сказала она, вытирая губы. — Конечно, люблю. Мы пять лет вместе.

— Это я знаю. Я не про быт. Я про любишь — чтобы кинуться за ним в огонь, в воду, в эту... пустоту его. Готова?

Вера хотела сказать «да» быстро, как всегда, как учили — быть сильной, быть уверенной, не сомневаться. Но слова застряли. Потому что за пять лет она ни разу не задумывалась: а

готова ли? И что значит «готова»? Стоять на коленях на кухне и вытирать слёзы свекрови, когда твой мужик сидит в темноте и смотрит в стену? Или пойти к психотерапевту, купить антидепрессантов, запереть его в квартире, пока не полегчает?

— Не знаю, — призналась она честно. — Но буду пробовать.

Мария Петровна кивнула, и в этом кивке было что-то похожее на одобрение. Или на отпущение грехов.

— Тогда слушай, — мать наклонилась вперёд, понизив голос до шёпота, хотя в квартире никого не было. — Он последнее время говорит странные вещи. Спрашивает, зачем мы живём. Кому нужна наша работа, наши заботы, если всё равно умрём. Я сначала думала — философствует. А потом поняла: он же не шутит. Он правда не видит смысла. Вчера по телефону сказал: «Может, лучше вообще не рождаться?». Ты понимаешь, что это значит?

Вера понимала. У неё у самой в аспирантуре был коллега, который повесился на шарфе в туалете кафедры. Тоже говорил про смысл. Тоже смотрел в стену. А потом — раз, и всё. Осталась записка: «Не будите. Я наконец уснул».

— Надо что-то делать, — сказала Вера.

— Я знаю. Только не знаю — что.

Они помолчали. Чай в кружках остыл, покрылся плёнкой, которую Вера всегда ненавидела — противной, скользкой, как жизнь, когда за неё хватаешься мокрыми руками.

3.

Алексей в это время сидел на подоконнике в своей холостяцкой квартире и смотрел вниз. Четырнадцатый этаж. Двор — пустой, только гаражи-ракушки и бродячий кот, который обходил лужу, не потому что не хотел мочить лапы, а потому что в луже отражалась луна, и кот, казалось, боялся наступить на неё.

В руке у Алексея была визитка — серая, с чёткими буквами. «Небесный Улей». Он переворачивал её, рассматривал, нюхал — пахло типографской краской и ещё чем-то сладковатым, как... как мёд. Или как ложная надежда.

Телефон завибрировал снова. Вера: «Ты дома? Я могу приехать».

Он набрал ответ: «Спокойной ночи». Без точки. Точка была бы окончательной, без точки — как люк, приоткрытый, но не запертый.

Потом открыл книгу «Соты» на странице 47 и начал читать абзац, который зацепил его ещё в магазине:

«Одиночество — это не когда ты один. Одиночество — это когда ты не можешь поделиться самым важным, потому что никто не поймёт. Мы в „Улье“ понимаем. Потому что каждый из нас был один. Каждый из нас смотрел на луну из окна и думал: зачем? Каждый из нас хотел исчезнуть — не умереть, нет, просто перестать быть собой. Мы знаем это чувство. Мы прошли через него. И мы знаем выход».

Алексей перечитал трижды. И почему-то заплакал. Не от жалости к себе — от облегчения. Потому что кто-то сформулировал то, что он чувствовал, но не мог выговорить. Не мог даже Вере — Вера бы сказала: «Пойди к врачу». А этот Олег Шатров — он не предложил врача. Он предложил понимание. И это было страшнее, чем диагноз.

4.

В среду он пошёл в библиотеку на Ленина, 14.

Здание было старым, дореволюционным, с колоннами и лепниной, которую в советское время не соскребли, а просто покрасили, так что ангелы на фасаде теперь напоминали психически больных гимназистов. Внутри пахло ещё старше — казённым борщом, тряпкой и плесенью. Но когда Алексей поднялся на третий этаж и толкнул дверь с табличкой «Творческая мастерская», он попал в другое пространство.

Комната была небольшой, но уютной — ковёр на стене, лампы с оранжевым светом, стулья, расставленные кругом. Люди — человек пятнадцать — сидели молча, с закрытыми гла-

зами. В центре круга стоял Шатров — в том же свитере, в тех же кедах, без пиджака, такой домашний, почти родной.

— Садитесь, — сказал он, не открывая глаз. — Мы только начали.

Алексей сел на свободный стул. Рядом оказалась женщина лет пятидесяти, с заплаканным лицом, и парень в толстовке с капюшоном, который кусал губы, будто сдерживал крик.

— Сегодня тема — вина, — продолжил Шатров. — Кто из нас не чувствовал вину? Вину за то, что сделал. За то, что не сделал. За то, что думал. За то, что не додумал. Вина — это клей, которым мы склеиваем себя с прошлым. Но прошлого нет. Есть только здесь и сейчас. И право дышать без оглядки.

Он открыл глаза. Посмотрел прямо на Алексея — и улыбнулся.

— Новый друг. Расскажите, как вас зовут. И что привело вас в „Улей“?

— Алексей, — сказал он, и голос его прозвучал чужим, будто кто-то другой говорил его ртом. — Я... я не знаю. Просто стало трудно. Очень трудно.

— Трудно — это когда поднимаешь тяжести. А вы поднимаете что-то невесомое. Пустоту. Она тяжелее, чем камень. Её нельзя положить — она только внутри. Но мы здесь для того, чтобы разделить эту тяжесть. Вы не один, Алексей. Никто из вас не один.

Алексей почувствовал, как кто-то взял его за руку. Женщина слева. Её ладонь была горячей и сухой, как печной кирпич. Она не смотрела на него, но держала крепко, с какой-то материнской неслучайностью.

— Я Надя, — прошептала она. — У меня дочь умерла. Три года назад. Я тоже думала, что не выживу. А потом пришла сюда. И теперь я живу для других. Для тех, кто ещё не пришёл.

Алексей хотел отнять руку — не потому, что ему было неприятно, а потому, что слишком хорошо. Слишком правильно. Слишком похоже на дом, которого у него никогда не было. Даже с Верой — с Верой он всегда чувствовал, что должен быть сильным. А здесь можно было быть слабым.

Здесь можно было быть своим.

5.

Через два часа, когда круг закончился, Шатров подошёл к Алексею, положил руку на плечо.

— Завтра у нас выездное занятие. За городом. Дом в лесу, печка, чай с травами. Хотите поехать?

— Не знаю, — ответил Алексей, и в голосе его не было уверенности. — Мне нужно на работу.

— Работа подождёт. А душа — нет. Она ждала вас два года. Хватит.

Алексей кивнул. Не потому что решил — потому что внутри, где-то глубоко, что-то щёлкнуло, как замок, который наконец-то открыли правильным ключом.

Выйдя на улицу, он набрал номер матери.

— Мам, — сказал он. — Я не приду на поминки. В этот раз точно не приду. Извини.

— Почему? — голос матери был ровным, но Алексей слышал, как под этим ровным — трещина.

— Я уезжаю. На семинар. Очень важный. По саморазвитию. Мне нужно.

— А Вера?

— Вера поймёт.

Он повесил трубку, не дожидаясь ответа. Сунул телефон в карман. Пошёл через парк, по чёрным, мокрым листьям, и чувствовал, как в груди разрастается что-то лёгкое, почти счастливое.

Он не знал, что это — предчувствие свободы или первые признаки капкана.

Но ему было всё равно.

Всё равно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «ЛЕС, ПЕЧКА И ЧУЖИЕ ЛИЦА»

Середина ноября 1999 года. Загородная база «Сосновка». 20:17.

Погода: за окнами пионерлагеря — сырая, липкая тьма, как разлитый чернильный раствор. Снега ещё нет, но земля промёрзла насквозь, и каждый шаг по ней звучит как хруст стекловаты. Ветер валит сухие листья в кучи, а потом разбрасывает их снова — бессмысленно, злобно, будто ищет что-то потерянное. Температура упала до минус пяти, но сырость пробирает до костей сильнее, чем любой мороз. Небо — низкое, свинцовое, без просвета. Луна прячется, звёзд нет. Только из трубы бывшей столовой валит дым — густой, белый, пахнущий не дровами, а чем-то сладковатым, вязким, похожим на запах перепревшего сена.

Место: заброшенный пионерлагерь «Сосновка» в тридцати километрах от города. В 90-е его закрыли за ветхостью, потом выкупила неизвестная организация, и теперь здесь — штаб-квартира секты «Небесный Улей». Главное здание — столовая, переделанная в общий зал: длинные столы сдвинуты к стенам, в центре — ковры, подушки, низкий круглый столик. Стены обтянуты тканью цвета охры, на них — плакаты с пчёлами, сотами и цитатами: «Ты — часть роя», «Смерти нет — есть переход». В углу — алтарь: большая свеча, горшок с мёдом, фотографии «ушедших», рамки перевязаны жёлтыми лентами. Из динамиков тихо играет музыка — эмбиент, звуки леса, колокольчики. Пахнет воском, мёдом и потом. Много людей — человек двадцать. Они сидят на подушках, некоторые с закрытыми глазами, некоторые перешёптываются. В центре, на возвышении из сложенных одеял, — Олег Шатров. Рядом с ним — Алексей, который приехал сегодня впервые.

1.

Он не должен был здесь оказаться. Утром ещё была лекция, потом разговор с завкафедрой о планах на семестр, потом встреча с Верой, которую он отменил за час до назначенного времени, сославшись на «мигрень». Мигрени не было. Было любопытство. Такое же, какое бывает у мыши, когда она нюхает мышеловку с сыром: пахнет вкусно, но откуда-то изнутри — железом и смертью.

Автобус отправился в пять вечера от здания библиотеки. Люди — тихие, одетые в светлые тона, почти все с термосами и пледом — занимали места молча, будто ехали не на семинар, а на собственные похороны. Шатров сидел впереди, не оборачиваясь. Алексей сел у окна, смотрел, как город превращается в пригород, пригород — в поля, поля — в лес. И чем дальше они отъезжали, тем легче становилось дышать. Или труднее — он уже не различал.

В автобусе к нему подседа Надя — та самая, с горячей рукой. Сегодня она была в белом свитере, без косметики, с зачёсанными назад волосами. На вид ей можно было дать и пятьдесят, и шестьдесят — возраст стёрся, осталась только скорбь, которая сочилась из каждой поры.

— Бойтесь? — спросила она, не глядя.

— Нет, — соврал Алексей. — А надо?

— Не надо. Бояться здесь нечего. Только себя. Но себя бояться полезно — это начало честности.

Она замолчала. Алексей достал из рюкзака книгу «Соты», открыл наугад. Попалась фраза: «Когда ты перестаёшь быть собой, ты становишься всеми». Он закрыл книгу. Ему показалось, что строчки шевелятся, перетекая одна в другую, как... как соты.

2.

В лагере было темно, хоть глаз выколи. Фонари не горели — Шатров объяснил, что «свет портит настройку», и люди шли на ощупь, держась за руки, образуя живую цепь. Алексей шёл между Надей и парнем в толстовке — Кириллом, как он узнал позже. Рука Кирилла дрожала, но не от холода — от возбуждения.

— Вы в первый раз? — спросил Кирилл шёпотом.

— Да.

— Я тоже боялся. А потом понял: здесь настоящее. Там, за забором, — фальшивка. Работа, учёба, долги — всё это не имеет значения. А здесь — имеет. Здесь ты нужен.

— Кому?

— Нам. Рою.

Они вошли в столовую. Тепло ударило в лицо — не сухое, печное, а влажное, как в бане. Музыка обволакивала, воздух был густым, пахло мёдом и травами. Люди сидели на подушках — кто-то медитировал, кто-то тихо плакал, уткнувшись в плечо соседа. Алексей почувствовал себя лишним, но не в том смысле, который привык — «чужой среди своих», — а в том, что он ещё не готов к этому уровню откровенности.

Шатров поднялся на возвышение, похлопал в ладоши. Музыка стихла.

— Дорогие пчёлы, — сказал он. Голос его был тихим, но слышал каждый слог. — Сегодня к нам присоединился новый спектр. Его зовут Алексей. Он преподаватель. Он учит детей, но забыл научить себя. поприветствуем его.

Все головы повернулись к Алексею. Не враждебно — ласково, как стадо овец смотрит на пастуха, когда тот приносит соль. Двадцать пар глаз. У некоторых — пустых, у некоторых — светящихся, у одной женщины в углу — абсолютно чёрных, без зрачков, как у рыбы.

— Спасибо, — выдавил Алексей. — Я... я просто хочу понять.

— Понимание придёт, — кивнул Шатров. — Но сначала нужно раздеться.

— В каком смысле?

— Снять броню. Ту, что вы носите каждый день. Броню лектора, броню сына, броню мужчины, который знает ответы на все вопросы. Здесь нет вопросов. Здесь только со-чувствие. Вы готовы?

Алексей хотел сказать «нет». Хотел встать, выйти на холод, сесть в автобус и уехать обратно в город, к Вере, к матери, к его душевной квартире с видом на гаражи. Но вместо этого он кивнул.

— Готов.

3.

Ритуал назывался «Исповедальный круг». Все сели так, чтобы видеть друг друга. Шатров зажёл большую свечу в центре, поставил рядом горшок с мёдом и фотографии «ушедших» — тех, кто, по словам Шатрова, «перешёл в коллективное сознание». Алексей заметил, что на одной из фотографий — молодая девушка, очень похожая на Надю.

— Мы начинаем с того, кто готов открыться, — сказал Шатров, обводя взглядом круг. Его взгляд остановился на Наде. — Надя, ты поделишься?

Женщина кивнула. Она вышла в центр, села на колени, положила руки на бёдра ладонями вверх. Голос её был тихим, но без слёз.

— Я убила свою дочь, — сказала она. — Не специально. Я просто... не заметила, как она заболела. У неё был жар, а я думала — капризы. Поехала на работу. Вернулась — а она уже не дышала. Врачи сказали: менингококковая инфекция. Счёт шёл на часы. Если бы я вызвала скорую сразу — она бы жила. Я не вызвала. Я убийца.

Алексей оцепенел. Кто-то в кругу заплакал, кто-то протянул руку, чтобы погладить Надю по голове. Шатров сидел неподвижно, с лицом, на котором читалось принятие. Не осуждение, не жалость — именно принятие.

— Ты не убийца, — сказал он мягко. — Ты — человек, который ошибся. И ты уже заплатила. Каждый день. Каждый час. Твой счёт оплачен. Теперь ты можешь быть свободной.

— Я не могу, — прошептала Надя.

— Можешь. Скажи: я прощаю себя.

— Я... — она запнулась, закусил губу. — Я прощаю себя.

— Ещё раз. Громче.

— Я прощаю себя!

— И ещё раз. Для всех.

— Я прощаю себя! — крикнула Надя, и вслед за этим криком из неё вырвалось что-то — не рыдание, не стон, а освобождение, которое можно было услышать даже ушами.

Она упала лицом в ковёр, забилась в конвульсиях, но её тут же обступили другие — обнимали, гладили, шептали: «Ты чиста», «Мы с тобой», «Ты дома».

Алексей смотрел и не мог отвести взгляд. Он знал, что это — манипуляция. Он читал про секты, про вытягивание травмы, про ложное прощение. Но внутри, в том месте, где жил отец, который лежал на полу под простыней, что-то поддалось. Захотелось выйти в центр. Захотелось сказать: «Я тоже убил. Я не приехал вовремя. Я предал». И чтобы его обняли, погладили по голове и сказали, что он чист.

Он сжал кулаки так, что ногти впились в ладони.

— Алексей, — позвал Шатров. — Ваша очередь?

В кругу повернулись к нему. Глаза — двадцать пар глаз — смотрели с ожиданием. И в этом ожидании не было зла. Было приглашение. Войти. Сдаться. Стать частью.

— Нет, — сказал Алексей, и голос его был чужим, хриплым, как у человека, который долго не пил. — Я не готов. В следующий раз.

— Будет следующий раз? — улыбнулся Шатров.

— Будет.

Он не знал, зачем сказал это. Может быть, чтобы не обидеть. Может быть, чтобы дать себе право вернуться. Может быть, потому что в этом круге, среди этих плачущих, обнимающихся людей, он впервые за два года почувствовал тепло.

Не любовь — тепло.

Но ему показалось, что это одно и то же.

4.

После ритуала пили чай с мёдом. Стол накрыли в соседней комнате — на скатерти с вышитыми пчёлами стояли глиняные кружки, заварник, тарелка с пряниками. Люди улыбались, разговаривали тихо, без суеты. Алексей сел в угол, к стене, чтобы видеть всех.

Кирилл присел рядом.

— Как вам? — спросил он, жуя пряник.

— Странно, — честно ответил Алексей. — Я не привык к такой... открытости.

— Привыкнете. Здесь все свои. Я вот полгода назад был такой же — закрытый, злой. Дома меня не понимали: мать пила, отца не было. Я хотел уйти из жизни. А потом попал сюда. И понял: уйти можно, но зачем, если есть дом?

— Вы считаете этот лагерь домом?

— А что такое дом? — Кирилл откусил ещё пряник, прожевал, задумался. — Дом — это где тебя принимают таким, какой ты есть. Не за оценки, не за успехи, а просто так. Здесь — так. А там — нет.

— А ваша мама? — осторожно спросил Алексей.

— Мама... — Кирилл отвернулся. — Мама не понимает. Она думает, что я в секте. Звонит, орёт, требует вернуться. Но я не вернусь. Она меня никогда не слушала, а здесь — слушают. Олег слушает. Надя слушает. Вы слушаете.

— Я слушаю, — кивнул Алексей.

И поймал себя на мысли, что это правда. Он слушает. И ему интересно. И ему хорошо. И он не хочет домой.

5.

Вернулись в город за полночь. Алексей шёл пешком через мост — ветер с реки дул в лицо, холодный, колючий, отрезвляющий. На середине моста он остановился, посмотрел на тёмную воду. Вода была похожа на ту, что на фотографии отца — чёрная, спокойная, равнодушная.

Ты мог приехать раньше.

Я знаю, папа. Я знаю.

— Но я тебя не предавал, — сказал он вслух. — Я просто опоздал. Это разные вещи.

Вода не ответила.

Алексей достал телефон. Три пропущенных от Веры, два — от матери. Сообщение от Веры: «Ты где? Я волнуюсь. Перезвони».

Он набрал: «Всё хорошо. Был на семинаре. Завтра расскажу».

Отправил. Спрятал телефон.

И пошёл дальше — по мосту, в темноту, в ноябрь, в ту жизнь, которая с каждой минутой становилась всё менее его собственной.

Он не знал, что сегодня пересёк линию.

Не ту, на мосту — другую, внутри.

И обратной дороги уже не будет.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. «КОГДА ОТЦЫ НЕ ВОСКРЕСАЮТ»

Конец ноября 1999 года. Город N. Квартира Алексея. 22:41.

Погода: за окном — промозглая, липкая ночь, когда дождь и снег спорят, чья очередь мочить прохожих, и в итоге побеждает серая слякоть, которая затекает в ботинки, под воротники, в самые потаённые щели души. Температура скачет от минуса к плюсу и обратно, асфальт покрыт чёрной ледяной коркой, фонари горят тускло, будто через молочную плёнку. Ветер — редкими, злыми порывами — срывает с веток последние листья, швыряет их в стёкла, заставляет вздрагивать даже тех, кто не верит в приметы. Луны нет, звёзд нет, только багровое зарево над городом — отражение тысяч окон, за которыми люди ужинают, ссорятся, занимаются любовью или просто сидят в темноте, как Алексей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.